

А.В. ШЕСТАКОВ

НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРЕ.

«ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРХАНГЕЛЬСКОМ ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ»

ГЛАВА I

«ПРОБУЖДЕНИЕ»

Архангельск во второй половине прошлого столетия был «гиблый» умирающий городок. От прошлого величия оставались лишь «Немецкая слобода» с небольшим числом иностранных дельцов, сгнившие причальные и другие портовые сооружения для военных судов и огромное каменное здание морских казарм, приспособленных для арестантских рот.

Городок задыхался в лесах, широкой стеной стоявших за ним на тысячи верст. Затерявшись от беспутницы с центром России, Архангельск хирел.

Между тем у его ног расходилась четырьмя огромными рукавами, впадающими в Белое море, многоводная Северная Двина. Архангельский порт, величайший в мире, с причальной линией по берегам материка и островов на 250 верст, с общей площадью порта 1500 кв. верст, должен был уступать своё первородство черноморским портам – этим крошечным «заводям» по сравнению с водной ширию Двины.

Кругом города раскидались по островкам и растянулись по линиям рек и речушек северные деревни с бревенчатыми в 2 этажа избами с высокими «поветями», с населением, кормившимся больше от лесов и воды, чем от земли. Кроме ячменя в окрестностях Архангельска никакие другие хлебные злаки не вызревали. Все население питалось «житным» ячменным хлебом, которого у многих хватало лишь до рождества. Тогда питались картошкой, брюквой и треской – вонючей соленой рыбой, которую в сентябре привозили в город на Маргаритинскую ярмарку поморы на своих крепких морских суденышках. Население и городка и деревень жадно набрасывались на треску и закупало её впрок на год пудами. На покупку трески и пикшуя (более дешевый сорт соленой рыбы с Гурмана) копились деньги, отдавались поморам мука и картофель.

Крестьянство беднело. Рыбные промыслы на взморье требовали сетей, а их купить было не на что. Наловленную рыбу продавать некуда. Город обнищал и не мог покупать или платил за рыбу гроши, на которые никаких «снастей» не завезешь. Да и рыба как то повыловилась, и бывали годы полных неудач, то бурями разобьет льды и последние сети унесет в море, то рыба уйдет «вглубь» и на обычных путях её лишь одни заблудившиеся одиночки – наваженки, селедки или глупые «покрышки» камбаленки.

Корабли, что шли из-за границы в Архангельск за зерном, за смолой, за пеклом, за скипидаром не могли дать заработка тем избыточным рабочим рукам, которые поставлял и сам городок, и окрестные деревни, и приезжавшие «сверху» Двины «верховские» крестьяне – с реки Ваги – «ваганы» или с Сухоны и Юга – «косопузы».

Летом городок кишел от безработных. Заработная плата падала до 20–30 коп. в день взрослому.

«Плод созрел». Безграничные пространства лесов, прекрасные водные пути, вполне достаточное количество рабочей силы, недоставало лишь капитала. «Немецкая слобода» привлекла новых дельцов с капиталом из Швеции, из Норвегии, из Англии и наступил «период первоначального накопления».

Его надо считать с того момента, когда один за другим стали строиться на протоках Северной Двины лесопильные заводы.

«Беломорский», «Брандт», «Шольц», «Дес-Фонтейнес», «Суркоф», «Ульсен», «Стампе и Ко» – иностранные фирмы, главным образом единоличных владельцев, «Русанов и Ко», «Амосов и Ко» – смешанные русско-иностраннне предприятия и только одни «Кыркаловы братья», построившие завод на месте сгоревшего «Брандта», работали на русские капиталы. Впоследствии и архангельские торговые капиталисты вроде Макаровых, Малаховых, Ружниковых, Патрушевых, Карповых и др. начинали строить свои заводы или входили компаньонами в иностранные фирмы. Тогда же был построен и большой «Удельный лесопильный завод» с армией управляющих, контролеров и особыми «строгостями» по отношению к «неблагонадежным».

В «лесные дела» стягивались и все капиталы, и вся пролетарская рабочая сила края.

Заготовки леса из Архангельской губ. перекинулись в Вологодскую, в Олонецкую губ., захватили далекий Мезенский уезд, Печерский край, район Кеми, Кандалакши ...

Всюду заухали топоры, завизжали пилы...

Архангельский порт ожил.

По Двине потянулись бесконечной лентой плоты бревен, взад и вперед засновали катера и парходики, у причальных линий заводских лесных бирж и на рейде с раннего лета до поздней осени маячили черные громады иностранных кораблей и парходов.

Появились вспомогательные заводи, фабрички, мастерские. Прежде всего началось оборудование порта, очистка мелей, укрепление берегов – в связи с этим возникли мастерские Министерства путей сообщения, где чинились землечерпалки, где подготавливались портовые устройства, приспособления для строящихся доков для ремонта судов и т.д.

Фирма «Ульсен» построила механическое отделение для ремонта парходов с литьем. Литейные «вагранки» работали у Шольца, на Удельном...

Возникли канатные фабрики (Клафтон и др.).

Вскоре началась постройка железной дороги от Вологды до Архангельска, а потом от Перми до Котласа...

Из Сибири через Архангельск усиленным потоком потекло за границу зерно – главным образом пшеница, льняное семя, «куделя», сливочное масло...

Чтобы перевозить эти грузы, понадобилась масса барж, баркасов, лодок, буксирных парходов...

Часть из них строилась на месте, часть перевозилась с Волги, часть (пароходы) доставлялись из-за границы.

Архангельск расцвел, принарядился новыми домами, завел конторы и отделения своих фирм повсюду за границей, организовал Мурманское пароходство с большими океанскими пароходами для перевозки товаров и пассажиров по берегам Белого моря и Ледовитого океана с правильными рейсами на Печеру, в Мезень, на Новую Землю.

Появились и охранные военные суда, «промерочные» партии, заговорили о восстановлении военного морского порта.

Так развертывалась «экономика» края за последние 50-60 лет до войны.

Так «живая вода» капитализма вызвала к жизни захиревшую далекую окраину России.

ГЛАВА II В ДЕРЕВУШКЕ БИРИЧЕВО

Верстах в 10 от Архангельска на отлогом берегу одной из многочисленных речушек березового рукава Северной Двины вытянулись в ряд домики и избы деревушки Биричево – родины отца.

На переднем плане двухэтажный дом с лавкой деревенского богатея старика Кулакова. Кряжистый старовер, жадный, скупой. Лишний раз чаю не напьется. У него много скота – чуть ли не 5 коров и 4 лошади, десяток овец. Сена им много надо, а потому у Кулакова и «пожни» больше, а когда приходит его «паузок» с сеном в Биричево, то он устраивает «помочи» – собирает всех кто в деревне налицо и гонит их на работу перетаскивать сено через своего кума сельского старосту. Идут к Кулакову охотно, потому он после работы угощает баб чаем и пирогами из ржаной муки и леденцами, а мужикам нальет и водки по стаканчику.

Не любил к Кулакову ходить на «помочи» только старик Егор «Закорежистый». Никому не любил «уважать», потому сам хозяин – снасти у него хорошие, рыба ловилась не плохо – другой год весь проулок на дворе в зиму «сельдей завалит». Вот только земли мало, а ребят народилось много, все парни, хоть и малые, а едят за больших. Работал Егор, как каторжный, а все же не мог осилить такого дома, как у Кулакова, - в 2 этажа с летними горницами да с поветью.

Натянул он только капиталу на один сруб в три окна без «повести», но с горницей. И баню, как у всех выстроил – через улицу с каменкой и задней дверью к речке, чтобы выпарившись, можно было близко до воды добежать -выкупаться. Хоть и черная баня, а нужное дело, обсадил её кругом березками, да ивами, хорошо летом в их тени посидеть, когда вымоешься.

В студеную пору на взморье в бурю на прибылой воде разорвало лед и унесло Егора со снастями. Ночью дело было. Едва спасся, вымок, промерз до нитки, больного в деревню привезли, парили, парили в бане, не помогло, помер. Осталась Дарья – его жена с ребятами малыми. Двое померли с голодовки потому, что баба, хотя бы и такая «ядренная», как «Закорегишна», сделать может? Пряла только лен, да ткала «самоткань» день и ночь по зимам, летом и на поле, и на пожнях все одна

сама, хорошо, что Ваське малышу четвертый год пошел, а старшой Сашка в пятнадцать лет, как мужик на стороне работать начал – за лето 10 рублей «зарабил». Когда ребята подросли, Дарье легче стало, только разошлись все в разные стороны по заработкам. Александр на судне матросом работал. Здоровый был парень – все дивились до чего огромный рост, а вот простудился одной осенью, когда их корабль разбило и они плавали в ледяной воде, и в скорости и умер.

Со вторым Василием, тоже по морской части пошел, тоже беда стряслась. На Белом море около Новой Земли их судно разбилось, и их трое в боту еле спаслись и зимовали на этой Новой Земле. Когда он рассказывает, как они с голоду все свои ремни и сапоги поели, как у них от цинги зубы повываливались, как его товарищи один за другим умерли, как белые медведи сидели на трубе их хижины и разрывали лапами снег на крыше, – тогда жутко становилось и мурашки по коже бегали. Сняли Василия с Новой Земли еле живого поздней весной норвежцы и привезли в Архангельск. С той поры он все болел чахоткой и к фершалу ходил, и бабка лечила, и мочу свою пил, и стекло толченое – ничего не помогало.

Дарья настояла «женись» – работницу в дом надо, выбрала ему жену Пелагею, здоровую – прездоровую, двух детей ему родила, и за всех одна работала. Всей семьей так и жили. Васька малыш – мой отец – рано из дому ушел. Юнгой его на корабль Василий старшой определил. Проворный был мальчишка на корабле – всем угодить умел, зато рано курить из трубки и жевать табак выучился, «виску» – иностранную водку пил, не морщился, о русской сивухе и говорить нечего.

У матросов англичан разным словам научился – «даешь табаки шмоком», «виски дринкешь?».

Часами мог так с ними разговаривать и ничего, понимали друг друга. Малыш ходил со старшими с корабля «на берег» постоянно и был вроде переводчика, а главное, забияки и задиры. Сойдутся бывало русские матросы и Васька, конечно, с ними, с норвежцами или англичанами или в портерной, или в «бардаке» (дом терпимости) не поладят из-за чего либо, то из-за слов, то из-за девиц, и выпускают Ваську как зачинщика. Налетит Васька петухом на кого-нибудь рыжего англичанина и, ни слова не говоря, «бац в морду». Тогда, конечно, и начинается настоящая драка. Выгонят их из помещения, они на улице дерутся, хватают поленья, камни, доски, бьют, режут ножами друг друга на смерть...

К одной партии дерущихся присоединяется другая, третья. Бывали драки, когда в них принимали участие до 1000 человек, потому на подмогу русским выходили и местные мещане, а иностранцы посылали гонцов по всем судам, требуя помощи против русских.

Полиция оказывалась бессильной. Иногда пускали вход пожарных и разливали драчунов водой, а иногда приходилось вызывать войска. После каждой драки оставалось несколько человек убитых и искалеченных. Ваське Малышу в этих драках только раз ударили поленом по носу и с той поры стал он кривоносым. Одежды он рвал в драках страсть, так что никаких заработков не хватало...

Узнала обо всем этом Дарья и особенно, когда осенью Василий чуть было не утонул во время крушения в бурю их корабля у Мудьюгского маяка, велела ему

уйти с этой работы и устроила на Беломорский лесопильный завод пильщиком, где почти все Биричѣвские мужики работали.

У старшего Василия лошадь околела – совсем хозяйство рушилось и у Дарьи сил прежних не стало, а молодуху Пелагею дети связали, да муж больной. За то у Кулакова торговля пошла. Все, что обеднявшие мужики на заводе или на судах зарабатывают, все в его лавку тащат. Он и подряды для заводов брать начал – лес ли катать с воды на берег – коней 20 с мальчишками поставит (самый озорной народ из этих мальчишек лесокатов получался) – «из матери в мать» вся их жизнь с 4 ч утра до 10 вечера не выходит), а то наберет артель тес в корабли грузить, сыновья у него за старших приказчиков всюду им приставлены, ну и подводы тоже на зиму, и «дома рубить» артелями – все Кулаков делал и богател, сыновей женил, по дому всем поставил, скотом и деньгами наградил, а больного Василия за отца Егора все же «прижал» – в волостные писаря его неграмотного выбрали, а для чего, а чтобы платить настоящему-то писарю жалованье целый год – совсем разорил Кулаков и Дарью, и Василия... По деревне говорили, что это Кулаков Дарье мстит, почему она в молодости не за него, а за Егора замуж пошла. Сочувствовали мужики Дарье, вся деревня поди родняки, даже фамилия одна, да с Кулаковым не поборешься, коли они «таку силу забрали». Васька Малыш хотел было «Красного петуха» Кулакову пустить (ему что, он отчаянный), да мать отговорила – брось Вася, бог его сам накажет. И действительно наказал вскоре. Биричѣвский богатеи помер и заместо его стал хозяйствовать старший сын Кузьма...

Так «расщеплялась» деревня далекого Севера.

ГЛАВА III СОЛОМБАЛА.

Местные историки рассказывают, что Соломбалой был назван Петром Первым остров против материка, по берегу которого растянулся лентой Архангельск, и где до сих пор цел домишко Петра, откуда он ездил на этот остров пьянствовать на вольном воздухе, на соломе. Потом на этом острове был устроен военный порт, казармы, создан поселок из портовых рабочих, из ремесленников потомков кантонистов.

Мой дедушка по матери – Коровин и был таким кантонистом – канатным мастером – прядильщиком. На окраине Соломбалы в лесу на болоте он купил захудалый домишко, женился на дочери портновского мастера (17 детей у него было) и завел канатную мастерскую. Вместе с женой они целыми днями крутили самодельные деревянные прялки, готовый товар продавали торговцам скупщикам, те в свою очередь продавали его поморам.

Медленно тянулось время умирания этого ремесла, но как-то сразу оно исчезло из Соломбалы. Старик Коровин умер, оставив после себя вдову с дочерью подростком – моей матерью. Бабушка Лиза продала свой домишко на слом, размотала куда-то все прялки и только одна из них с большим дубовым колесом долго валялась на чердаке нашего дома. Помню только, что зачем-то мать всюду возила с собой эту прялку, хотя сама и никто другой никогда не ней не работали. Ремесло

– вещь цепкая, можно отсюда сделать вывод. Но очевидно не в канатном деле. Паровые машины на канатных заводах Клафтона и других быстро съели ручных ремесленников, и хорошо сделал дедушка Коровин, когда умер так вовремя.

Вдова пошла в прислуги в немецкую слободу, определив «девчонку» сначала на посылки к полицмейстеру, а потом к богачу Гувелякину горничной. Отец и сын Гувелякины – были крупные лесопромышленники Севера (сын до революции много лет избирался городским головой г. Архангельска). Потом горничную Сашку «немцы» устроили няней при детях на Беломорский завод к «немцу» управляющему.

Немецкая слобода вообще вытягивала рабочую силу из Соломбалы и Кузнецихи (тоже слободка ремесленников) и распределяла её или в качестве личной прислуги или же по заводам, конторам, кораблям, пароходам, торговым делам и т.д.

С ростом лесопильной промышленности патриархальный ремесленно-мещанский быт Соломбалы быстро разрушался. Все соломбальские слесаря, токаря, медники, кузнецы, столяры, плотники, извозчики и пр. были втянуты на работу в заводы. С последними не связывались разве только незначительные группки небогатых чиновников разных палат, кожисторий и пр., живших в своих домишках в Соломбале.

Торговцы Соломбалы всегда зависели от рабочих заводов и рабочих в гавани на кораблях и пароходах. Соломбала превратилась в пролетарский центр очень быстро – какие-нибудь 20-30 лет совершенно изменили её внутреннюю сущность.

С внешней стороны у соломбальских рабочих, особенно у мастеровых, были свои домишки, у очень немногих корова и огород в несколько грядок ... и только.

Эта «собственность» связывала их, но совершенно не обеспечивала. Если у кого и были квартиранты, то плата в 2-3 р. в месяц, конечно, очень мало помогала восстанавливать все время колеблющийся «бюджет».

Кое-кто из соломбальских торговцев и ремесленников позажиточнее использовали новую конъюнктуру тем, что стали брать подряды на поставку рабочей силы в порт, на заводы, на постройки, на отдельные работы (кладку печей, заводских труб, малярные и плотничные работы и т.п.).

Ремесло умерло, родились новые промышленные предприятия. Над Соломбалой задымили трубы, загудели гудки мастерских и заводов. Соломбалец превратился в пролетария и для эксплуатации его новых покупательных способностей появился ряд крупных магазинов, кондитерских, трактиров и «гостиниц». Соломбала тоже «расщепилась» на верхушечную группу нескольких лесопильных заводчиков, крупных торговцев, владельцев разного рода мастерских с наймом рабочих (главным образом механических), подрядчиков и большую массу рабочих.

Сбоку – попы, полицейские, учителя, чиновники, проститутки.

ГЛАВА IV МАТЬ И ОТЕЦ

На Беломорском заводе Василий пильщик зашел к управляющему на кухню

купить молока и «поиграл» с Сашей. Раз и другой приходит, норовит в праздник, а на работу идет мимо дому соловьем свистит. Встречалась с ним Саша и при детях, которых в садочек уводила, а то и ночью, сойдет босая вниз, чтоб не слышно было, снимет ей Василий валенок, она и стоит с ним на валенке – не так холодно, а он об одной ноге босой. Как кто идет, разбегутся, будто мышата пугливые. Нравился Саше Василий – одевался в матроску, а то и манишку оденет, бывалый парень, все ей сказку рассказывал, как жил солдат на квартире. И любились они с Троицы до Нового года, обнимались, целовались за уголком, за домом. Решили пожениться. Узнали про это ребята, дразнят его: «Васька, Васька, а невеста-то у тебя богатая, рубахи и той нету!». Доложился матери, что жениться хочет. Приехала старая из деревни. У сына в казарме живет, на печи место ей дали, на койках негде – мужиками рабочими заняты.

Позвала Сашу кухаркина дочь. Кухарка будто сватья, а старуха Дарья высокая, с виду здоровее Василия раза в два. Погладила старуха по Сашиной большой светлой косе, ласково сказала: «Сарафан красный тебе, девка, сотку с белыми рукавами (мода такая тогда была в деревне у них), пойдешь за Василия-то?» Тихо сказала загоревшаяся Саша: «Пойду!». А потом чай с черным хлебом пили, а Василий сухой треской угощал. А через неделю к Сашиной матери в Соломбалу ходили и кухарка из казармы с ними. Тут угощенье другое – городское, не даром Коровина у господ в людях жила, платишко заложила, а угостила гостей сухарями сдобными, орехами калеными, сладкой наливкою. Жених очень даже понравился – сапоги навакшены, пиджачок круглополый, в воротничке, совсем на крестьянина не похож, а будто иностранец какой, да еще и сладкий табак ест, только вот зря на пол плюется, а пол-то в комнате чистый-чистый, сама Коровина его с «дресвой» мыла.

Дала она жениху платок в знак согласия, а в зиму и свадьбу сыграли. В деревенской церкви венчались, с подвенца к Дарье уехали. Худо с непривычки к деревенской жизни стало Саше, когда муж на завод на работу ушел: к деревенской работе, к тканью, сети вязать, за скотом ходить не приучена – за что взяться не знает, а свекровь злая, ругается, вот дармоедка, соломбалка несчастная на шею, хлеб есть, навязалась. Терпела, терпела Саша, шесть недель терпела, на седьмую к мужу сбежала, на завод. Стыдно Василию перед товарищами, да и куда её молодую спать положишь – спрятал в койке на холодном чердаке. Так на опилках и спали, тулупом закрывшись, а она сидела в койке день и ночь, грызла сырой горох, он ей целый «кореник» его принес, как бы орехов, а кормил воровски – стянет кусок хлеба и трески, вот она и питается. Уговорила его в Соломбалу переехать, на «вольную квартиру» поближе к своей матери. Переехали, а через год и сын родился – я самый автор, а еще через пару лет – девочка. Бабушка Лиза очень меня любила и, когда крестили, то она по знакомству своему с господами, крестным отцом у меня устроила офицера воинского начальника Сергея Николаевича Полевого, который подарил золотой крест и мать часто его в ломбард носила под заклад.

ГЛАВА V «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Жили мы на краю Соломбалы в ветхом домишке на вышке в комнате с кухней на чердаке. Отец приходил домой с работы по субботам до понедельника утра, а целую неделю жил в казарме. Он из пильщиков перешел в пилоставы: понравился мастеру финляндцу, тот и обучил его премудрости, как пилы наждачным камнем точить, на прессе зубья высекать, подправлять напильником, разводить по шаблону, а главное на наковальне круглые пилы особыми молоточками выправлять, чтоб полотно было ровное, под линейку, без «яблоков» и «впадин». Все штуки одолел Василий и стал у мастера за главного подмастерья и, когда являлся в субботу домой пьяный, то перед матерью похвалялся, как он здорово вперед идет, и все ей про шаблоны, да про «яблоки» толковал, а она разве понимала что. Дурой была, дурой и осталась. В воскресенье он спать любил, а то драться ходил с иностранными матросами. И деньги пропьет все, и оборвут его всего, и побьют, в синяках ходит – плачет мать, бывало, неутешно целую неделю, конечно, когда работы нет, а то «в люди ходила» – полы мыть, бельё стирать. А я за няньку оставался – это трех лет-то. Раз взял кочергу, подцепил её за пеленки маленькой сестренки, да через плечи по комнате и таскаю. Мать пришла, так и ахнула, как я младенца не зашиб. А то однажды летом в разбитое стекло в раму влез, да так и повис с третьего этажа. У матери с испугу ноги подкосились, подползла к окну, синего из рамы вынула, кричал больно, а никто не слышал – на болото в лес окно выходило.

Так и мучилась мать с отцом да с нами. Когда отец заикнулся, что ему может комнату на заводе дадут, как пилоставу, обрадовалась, целовала его, умоляла.

– Уедем на завод, здесь ты совсем сопьется в этой Соломбале со своими друзьями.

Переехали на завод.

Как работник отец на хорошем счету и комната у нас не плохая, только свету мало. С сестренкой Маней я неразлучен, как няня. Все её на солнышке старался держать, так мать велела, а то она такая худенькая, золотушная. Было у нас любимое местечко – под балконом заводской конторы. Перед глазами, как серебряное зеркало, водная ширь реки...

– «Бляблик, бляблик идет!» Щебечет моя девочка и захлопает ручками белоснежным парусам корабля, гордого, как птица...

У меня серенькие нанковые штанишки, красная рубашечка, а у неё и красное платьице – так, как два ярких цветочка мы ходили вместе. Маме все некогда, то она шьет по заказу рубашки, то на реке рыбу полощет для заводской лавки, а то еще у нее какая работа. А мы и без призора – сами себе хозяева – маленькие, да глупые. Так нас однажды норвежского мастера дети, Ларсена, позвали к себе и такую гнусную штуку с нами проделали.

Любили мы с Маней ходить к реке на берег, где паромы-плоты старичок караулил, ткал из волоса лесы – удочки и рассказывал чудные сказки про водяных, про русалок, про леших. Хорошо у него – на песочке костер тлеет, на рогульке чайник кипятится или «саламат» из пшена варит. Поживала у нас и бабушка Дарья

Закорегишна. Очень она была непоседлива – то в лес по малину пойдёт, то за морошкой, а то за грибами. Когда я подрост, меня с собой брала в лес и хорошо с ней в лес ходить и жутко, убежит, бывало, по болотам, через чаруса, как молоденькая прыгает, и оставит меня одного, а я дороги не знаю, голосу ее не слышу, ну и по воле расплачешься. А бывало и блудил от нее отбившись... Что тогда делалось – отец с матерью, да с другими мужиками меня по болотам ищут, а бабка сама не своя – ребенка потеряла. Бабка меня потеряет, а отец найдет, да ремнем потом и выпорот... Такая несправедливость.

Пойдешь в казарму к кухаркиному сыну поиграть, ну, конечно, грязно там у них, выпачкаешься, иногда и штаны раздерешь, когда под казармой или по крыше лазаешь, а тебя опять драть. И драли ремнем по мягким частям так больно, что иногда два-три дня сидеть не можешь. Оба меня драли и мать, и отец, только мать не больно, а отец, тот прямо по-зверски. Он своих привычек драться все не бросал, хотя и на завод переехал. По праздникам со своим мастером финляндцем он все уходил в Соломбалу пьянствовать, да по бардакам шататься. Матери не нравилось, корила его, а он и на нее драться лез. А тут и еще сестренка родилась – Анята...

В 1884 г. Беломорский завод сгорел. Картина пожара врезалась в памяти с того времени, как живая до сих пор. Ровно в полдень жаркого летнего дня вспыхнул огонь на лесной бирже в штабеле тонкого тесу, к вечеру на несколько верст кругом пылали штабеля досок, бревен, завод, мастерские, дома, контора, казармы. Отец работал на пожаре и день, и ночь, а мать, вытащила скарб на «плитку» бревен в реке и с детьми сидела в ужасе, как бы головня не залетела на бревна и не зажгла их (такие случаи были, несмотря на то, что бревна в воде). И вдруг плиту оторвало от берега и понесло по течению. Тут мы перепугались до смерти. Всю ночь промучались. К утру перехватил её случаем пароход и поставил нас в безопасное место. Я пробрался в шалаш к своему приятелю дедушке сторожу и уснул у него. Отец еле нас разыскал.

Все кончено. Завода не стало. Тысячи рабочих остались без куска хлеба. Всех сейчас же уволили, отца тоже, кроме мастеровых. Голодали мы тогда отчаянно. Наконец к осени финляндца с отцом наняли на завод «б-я верста» вверх по Двине – «Суркоф и Ко».

По осенней распутице переезжали мы с мукою к отцу в повозке с Беломорского завода на новое место. Река бурная. Снежная метель... Помню приехали ночью, замерзли все, еле живые. Хлеба нет... голодные... а отец не рад, что приехали, ругается... Комнаты нет. Кое как устроились у порога в казарме. Так и прожили две недели и только потом поселились в комнатке из-под курятника. На аршин птичий помет, как курная изба, полно тараканов, а перед окном скотный двор, полон свиней и вонь такая, что задохнуться можно. Выскребли помет, вымыли стены, пол, потолок, печь отец сам сложил – так и жили тут целый год, жили голодно, бедно...

Рядом с лесопильней «Суркоф» вел и пивное дело... Отец это пиво – брагу пил ужасно и все ругался с хозяином, как напьется, но его держали, потому у него «золотые руки», дело знал. Любил я ходить по пивному заводу. Наклонишься над чаном, откуда хмельной угар идет, голова закружится. А потом свиньями очень

заинтересовался, особенно поросятками, их жизнь наблюдал, любил, когда они «барду пьяную» с пивного завода жрали, хрюкая от удовольствия. На Рождество жирных свиней резали, очень неприятно это было, визжали они, как люди, а затем их розовые туши лежали длинными рядами в особом сарае, а оттуда их увозили в город или коптили на окорока. Я всюду свой нос совал и изучал все до тонкости – как, что, отчего, почему и зачем. Через год все же отца «рассчитали», вероятно, подыскали другого мастера. В карбасе перевезли нас в Соломбалу, где отец снял комнату с кухней. Безработица какая-то в то время была и отцу пришлось пойти в чернорабочие – на погрузку тесу, зерна и другие портовые работы. Нужда донимала здорово – даже выпить отцу было не на что. Я старался чем-нибудь помочь семье, ходил на берег реки (на «угор»), копался в балласте, выбирая меловые камешки, кусочки угля и продавал корзинки в меловую толчею и в кузницу по 15-20 коп. Иногда удавалось наворовать корзинку угля со складов и тогда заработки повышались, но если попадешь в руки сторожу, то били нас мальчишек-воришек угля – без пощады.

Я открыл еще один легкий способ заработка – лазить по канавам под тротуарами и отыскивать монеты. Тротуары деревянные и пьяные в щели часто роняли медяки и «серебрушки» – особенно около пивных, трактиров и бардаков. Это давало иногда в день до рубля и больше – особенно в первое время, когда этим делом занималось всего трое-четверо ребятшек с нашей улицы – моих приятелей. Вымазывались мы в грязи канав не меньше, чем суркофские свиньи на скотном дворе, но мать не била меня за это, так как я отдавал ей все найденные деньги и часто выручал в трудные минуты – особенно в дни безработицы отца – не всегда и он попадал на поденщину к тому или другому подрядчику.

С раннего утра до полудня сидели безработные на улице, на перекрестке Никольской и 4-го Проспекта и ждали нанимателей, проедая последние гроши на лепешки у сновавших тут же старух.

К осени отец становился все злее и злее. Остаться на зиму без работы – гибель от голода всей семьи. Но вывернулся из беды – поступил на завод, к Амосову пилоставом по круглым пилам на клепке, работа выгодная, сдельная.

ГЛАВА VI ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Тогда же с осени отдали меня в приходское к учителю Тарабукину. Очень пугался и его самого, и его фамилии. Учился средне, но через год уже умел читать и выводить каракули. А лето 1886 г. – 8-летним мальцом впервые попал в работу – котлочистом на иностранный пароход. Можно было только у него, так как он оказался монополистом. Работа котлочиста очень неприятная. Привезли нас на пароход, заставили спуститься в котельное отделение, а котлы еще не остыли, как следует, и влезли мы через люки в них и начали молоточками отбивать накипь. Отскакивая, кусочки накипи забираются в волосы, за ворот, течет пот, от грязи и пыли липкой и едучей становишься негром, а тут беспрестанный еще шум от удара молоточков, от душераздирающего скрипа и визга шкрабок голова делается

как пустой барабан и звенит в ушах не переставая. Работа тянется с 7 ч. утра до 6–7 ч. вечера, потому пароходы быстро выгружаются и нагружаются и из-за чистки котлов им стоять не приходится.

Шмидту большие деньги за котлы платят, чтобы хорошо и быстро работали. Он приедет сам на пароход, поговорит что-то по-своему с кочегарами, а те и набросятся на нас, как собаки, ругаются по-русски: «Свинья, сволочь, так твою мать», а иногда и дерутся, что мало или плохо наработали. Бывали иногда и добрые, кормили нас из лоханок, в которых стирают бельё, – давали кусок свинины, белые сухари – «бишки», а иногда даже старые штаны или пиджаки. Помню, раз один кочегар подарил мне целый костюм и кепи и мать мне перешила его на мой рост. Вылазили мы из котлов словно пьяные, угорелые, ехали на пароме и шли домой неумытые, как арапчата, грязные и только теплой водой кое-как смывали лицо и валились спать. Когда котлочистой работы не было, шкивидорки брали нас мальчишек на «тромапье» – утрамбовывание сыпи. Нас употребляли для такой работы, которую не могли исполнять взрослые женщины, подбивать сыпью в трюмах железные перекрытия, чтобы не было пустых углов. Работа каторжная, в такой густой пыли, что в двух шагах человека не видно, и как мы не задыхались – просто чудо. На рты мы одевали платки и дышали через них и через час платки были черны, как сажа, а мы так и плевали черными плевками все лето. Платили нам в день за котлочистку и за трромапье 20-30 коп. Скверно, и тогда я ненавидел и Шмидта, и всех этих матросов, и шкиперов, и капитанов и всех вообще иностранцев и сочувствовал отцу, который нет-нет да и подерется с ними при случае по пьяному делу. Я бы им тоже морды набил, если бы только побольше сил, да росту повыше...

Так и проходили мои каникулы, хотя иногда удавалось к бабке Дарье и к тетке Пелагее в деревню съездить (дядя Василий тогда уже помер), а там по ягоды, по грибы ходили, с двоюродным братом Яшкой купались, рыбу ловили. Хорошо в деревне после проклятой работы на пароходах.

На другой год писать научил Тарабукин, а батюшка очень на божественное напирал и приохотил меня читать жития святых, особенно еще мать приставала – почитай «божьих книжек», и читал ей и сам увлекался, хотя больше нравились сказки. Их у меня случайно оказался целый сундук. На Амосовском заводе жил кочегар Лавров, наш кум, Анюту крестил; от жены он хотел убежать за границу, украл у шкивидора из сундука 100 руб. и уехал, поймали его, посадили в тюрьму, а потом на 3 года в арестантские роты и в Сибирь на поселенье; жена его Марья пошла за ним, а сундук с книгами оставила у нас. Сказки тут оказались чудесные и «Бова Королевич», и «Еруслан Лазаревич», и «Гуак – храбрый рыцарь», и «Русские богатыри», и какой-то «Милорд разбойник», и сказки Гриммов и даже описание восстания индусского вождя Нана Сагиба против англичан. Последняя история не совсем была для меня понятна, но я ведь тоже не очень-то этих англичан долюбивал. Отец теперь меня брал с собою по праздникам по трактирам и по пивным, и когда мы с ним выпивали порядочно (положим я с бутылки пива уже хмелел), то пели громко песни и ругали иностранных холуев. Отец и меня учил ругаться по-английски, но я сейчас забыл все, кроме «донна ветер». Мать ругала

отца зачем он меня портит, а я ничего не видел плохого, только голова болела, да потом еще батюшка тоже ругал пьяниц и говорил, что они в аду гореть будут. Мне, однако, становилось жалко оставлять отца одного где-нибудь в трактире или в пивной пьяного и каждый праздник я разыскивал и приводил его домой, уклоняясь от его угощений.

Не всегда шло все так гладко, как описано. Мать заставляла нянчить детей, а я предпочитал убегать после уроков на улицу к ребятам – «играть». На этой почве бывали для меня большие неприятности. Так однажды мать стащила с меня штаны, отодрала колючим вереском и в одной рубашонке выше колен выгнала «поиграться». Комары кусались, ребятишки издевались... Отец тот все норовил за проказы избить ремнем, и боялся же я его ремня.

В третьем классе приходского я уже выделялся способностью запоминать исторические факты, географические названия, молитвы. Читал я в эти годы запоем все, что попадало под руку из школьной библиотеки, от товарища отца Горецкого, из сундука Лаврова. В этот же период времени увлекался религией, пел на клиросе, читал шестопсалмие, часы заутреней и т.д. У всех законоучителей стоял на первом месте и действительно по памяти мог отслужить чуть ли не всю обедню. Один из попов послал даже за отцом, посоветовать ему отдать меня в духовную семинарию и брался хлопотать о принятии меня на казенный счет, но отец резко отклонил это предложение. «Я – рабочий и сын у меня тоже будет рабочий», – ответил он попу.

12 лет кончил я свои школьные годы. Научился читать, писать, арифметике, кое-что знал из истории, географии, по физиологии человека. На экзамене удачней всего оказалось мое сочинительство. Я написал по памяти на 15 листах писчей бумаги сочинение на тему о морских промыслах севера. Комиссия отметила эту работу отметкой 5 с плюсом.

Так с того времени я и считал себя способным к сочинительству.

ГЛАВА VII НА ЗАВОДЕ ПОДТОЧЧИКОМ

Отец с завода Амосова перешел на вновь отстроенный большой завод «Ульсен, Стампе и Ко» в самой Соломбале. Предприимчивые норвежцы начали с маленького заводчика в одну раму и через 10 лет уже смогли выстроить 4-х рамный завод с механическими мастерскими, с новыми машинами по выкатке леса и пр. Запомнились хорошо эти машины, такие громадные и жуткие. Мальчишки лесокаты еле-еле накатывали бревна в 10-12 рядов высоты, а машина с непрерывными железными цепями и огромными крюками плавно брала с воды бревно, поднимала его вверх сажень на 10 и перебрасывала, как перышко, через свою «голову», а потом оно плавно опускалось на железные «слеги» и, подпрыгивая, катилось по «слегам» штабеля. «Ваганы», как кошки, прыгали через бревна, их бег подправляя у комлей. Они с детства привыкали к бревнам и танцевали на них и на воде, и на суше замысловатые танцы. Я пробовал пройти по круглому бревну на воде или перепрыгнуть через него, когда оно катится, и без успеха, сколько ни старался.

Завод я уже успел хорошо изучить, когда носил отцу обед из дому. И паровую машину понимал, и любил прикладывать руку к широченному главному ремню от машины к центральной трансмиссии – из руки выскакивали с треском синие огоньки, и я знал, что это – электричество. Умел я и прыгать через приводные ремни от трансмиссии к рабочим станкам и рамам, хотя это и строго запрещалось заводскими правилами.

И когда в июне 1890 года отец привел меня в пилоставную и посадил на высокую табуретку перед самоточкой, казалось, что это в порядке вещей. Точить я научился быстро, приспособился так, что и «закалки» у меня не получалось, потому что стал разбираться и в системах точильных камней и узнал каким камнем как точить. Работа не очень нравилась: целый день выпиливай зубья у пил «точилком», а от этого пыль ужасная, а главное, искры летят и прямо в глаза. Из конторы велено точить в очках с сетками, но очки синие, быстро забиваются пылью и ничего в них не видно толком, а надо точить с большой осторожностью как бы зубья сами собой не закалились на воздухе, точишь поэтому без очков, и в глаза впадают горячие кусочки наждака или стали. Сначала мучился я с глазами, страсть! Даже в больницу несколько раз ходил... А потом наострился заостренной спичкой или остреньким концом свернутой бумаги соринки из глаз выковыривать перед зеркальцем, а потом и отца, и у других подточников и пилоставов не менее ловко оперировал – рука меткая, найдешь соринку, прицелишься и готово – даже «доктором» меня в шутку называли. Но прежде чем дойти до такого совершенства я бывало по неделям ходил с забинтованным глазом и слезились глаза от боли постоянно; с того времени и зрение ослабло...

Летом ездил по материному «обещанию» в Соловецкий монастырь – мое первое морское путешествие. Поехал верующим, а из монастыря, где все полно «святости» вывез «сомнения». Несовместимым казалось, почему монахи так много водки в четвертных бутылках в монастырь везут, будто для лекарства, – не поверил, затем видел на могиле крест Зосимы – обгрызенный богомольцами пенек, будто кусочки дерева хорошо от зубной боли помогают, а на утро смотрю – монахи новый крест поставили, в лето будто несколько десятков крестов православные изгрызают. А ведь обман это, и все в таком роде допытывался. Мать хотела было меня в монастыре на год на послушанье оставить, так я белугой завыл, разревелся – не хочу... А все же монастырь дал много поучительного.

На завод пришел на работу пилостав Тимошка Татарников. Первый раз в жизни я так озлился и большого парня рейкой так «саданул», что он меня перестал больше дразнить. Потом этот Тимошка большой балагур и насмешник стал моим товарищем. Он выделялся высоким ростом, белым красивым лицом с курчавой круглой бородой. Стал по сортам «цепной» – связной, так как порча какой-нибудь одной пилы вызывала через час-два остановку всего завода. Я бегал в Соломбалу за кем-либо из наших пилоставов и часто тоже находил их пьяными и иногда героически брался сам за исправления. Взрослые рабочие мне помогали, но иногда неумело. Однажды я только уселся на обрешном станке за точку пил, как вдруг они завертелись с визгом, и если бы я потерял присутствие духа, меня бы распилило надвое...

Механизмы завода, несмотря на то, что он считался новым, оказывались далеко не идеальными. Не проходило недели, чтобы кто-либо не отрезал себе палец, не отдал ногу, не оторвало кому руку, кому голову! Помню жуткий случай, когда головкой шпонки (тогда гладких шпон еще не знали на севере) захватило рабочего за рубаху и намотало на вал трансмиссии, причем все части тела были оторваны и разбросаны по сторонам. Я первый заметил несчастье и тревожными сигналами остановил машину, но уже поздно. Я всегда удивлялся, как Тимошка ни разу не попадал не под пилу, не под ремень, и даже точилки, когда разрывались на куски, летели мимо него. А мне раз в грудь так ударило, что с неделю еле дышал.

Любил я в то время после работы книжки читать, и по-прежнему ходил к учителю и пользовался его школьными книгами. Читал «Преступление и наказание» Достоевского, «Войну и мир» Толстого и Ж. Верна «80 тысяч верст под водой». А в праздники ходил с ребятами постарше «драться». Сначала дрались «промеж собой» ребята 3-го и 4-го проспекта с 1-м и 2-м проспектом, а потом «вся» Соломбала с Кузнечихой. Драки эти назывались у нас войной.

Били друг друга на расстоянии палками, камнями, перебрасываясь, а то, озверевши, сходились близко на сажень – на две и лупили друг друга шестами, особенно плохо было тем, кто отступал, отстающих измолачивали жердями до полусмерти, а то и до смерти. Меня ни разу не били, бегал шибко, но голова во многих местах камнями рассечена, до сих пор следы остались. Дрались на окраине на болоте, на дальних улицах Соломбалы, на замерзших речках – Костюшке, Кузнечихе и на самой Двине. Раз поймали меня на Двине одного десятка парней из вражьего лагеря, все с кольями на конках, окружили, убьют на смерть. У одного из их товарищей я жердью «в войне» голову раскроил.

Выхватил из кармана перочинный ножичек – сам на заводе сделал, да как заору: «Прочь – всех перережу!». Расступились, выпустили из круга, вдогонку палки бросали, а я, как бешеный, катился на свою сторону к своим товарищам и с ними еще на них в атаку ходили. Но «войны» уже отмирали. Год от году в них принимало участие все меньше и меньше народу, а потом и совсем перестали «драться». Драки с иностранцами прекратились еще раньше.

В голодный 1891-й год пароходов под сыпь почти не было, и мы сильно бедствовали, я полгода не работал, если не считать чистки котлов и тромпанья, – заводу не хватало заготовки бревен, а цена на муку стояла до 3–4 р. и больше за пуд. И за мукой в зиму 1891-92 г. мы ходили из Соломбалы верст за 10 на Бык в продовольственные магазины, где давали нам муку или ржаную, или кукурузную по карточкам по 1/2 п. на человека. Очереди стояли огромные по 1000 человек, и, чтобы получить муку надо было испытать изрядную муку...

Хорошо, что мать родила еще двоих к тому времени, и я сразу получил чуть ли не мешок муки на все семейство.

ГЛАВА VIII МАЛЕНЬКИЙ ПИЛОСТАВ.

В 1893 г., когда мне стало 16 лет, меня из подточников перевели в пилоставы

на 20 р., а потом на 25 р. в месяц и прибавляли обычно по 3-5 р. в полугодие. Такой большой заработок ставил меня в привилегированное положение перед другими, так-как взрослые пыльщики – самая трудная работа на заводе вырабатывали сдельно не больше 40-45 р. в месяц в лучшую пору – летом, а слесаря, литейщики, токаря у Ульсена свыше 30 р. почти не получали, кроме, разве главного мастера. Пилоставам платили больше, так как их не хватало на все вновь возникающие заводы, а учиться ремеслу все же года 2 надо. Потом наступило перепроизводство пилоставов и цену сбили. Но в начале 90-х годов отец иногда зарабатывал по 100 р. и более в месяц. Отец сумел купить старый дом побольше первого – в семье у нас все время шел прирост, и одной комнаты становилось мало, да и неудобно, когда мы подрастали.

Я работал последнюю одну неделю ночью, другую днем... Это иногда оказывалось очень удобно – в ночной смене работы мало – выспишься, а днем идешь в читальню общества трезвости – газеты, книжки читаешь. С учителями Беловым и Шумовым дружба не прерывалась, а читальней они верховодили и меня работать в ней приучили – детям книжки выдавать по праздникам. На этом деле с другими интеллигентами познакомился – с Вал. Арс. Симановской – сестрой А.А. Симановского, известного по делу Петербургского Совета Рабочих Депутатов, как организатора печатания «Известий», с любителем археологом К. Рева, И. Шмаковым – аптекарем, П. Яриловым – фотографом и др. Чаше других заходил к Шумову, к Яриловым – они жили в Соломбале. Прислушивался к разговорам, получал указания, что читать, через них получил доступ к книгам старой морской библиотеки, где имелись полные комплекты и «Современника» и «Дела», и «Отечественных записок» – своего рода нелегальщины в то время. Тогда же близко сошелся с одним чиновником какой-то палаты бывшим учителем Федором Вещагиным.

Он любил выпить, но из всех интеллигентов отличался большим радикализмом. Он достал мне какой-то рукописный список книг для последовательного чтения, главным образом, по русской литературе с критическими статьями как раз в указанных старых журналах.

Центром этого списка были народнические писатели. Через него же я познакомился и с первой «запрещенной» рукописью – «Письмо Александру III» Цебриковой. Многого я не понимал, скучал над Добролюбовым, Писаревым, Шелгуновым, но все одолевал с величайшим терпением. Заглядывал и в новые журналы «Русская мысль», «Вестник Европы», «Исторический вестник» – все в той же морской библиотеке.

Как меня там терпели я не знаю, но от господ офицеров старичок библиотекарь меня как-то ловко прятал. Во мне что-то нарастало, зарождались какие-то идеи, но оформить их я не мог. Напал на приехавшего из Питера слесаря Лушева – бойкого, живого, но горького пьяницу и юбочника. Вместо пользы от дружбы с ним получилось увлечение театром, стал актером-любителем, выпиванье и ухаживание за девицами. Увлечения менялись: то бильярд заинтересует, то преферанс, то вечеринки, танцы, коньки, катанье с гор, то рыбная ловля. Конечно, на все это тратились праздники, вечера или свободные дневные часы при ночной работе.

В 1895 г. 18-ти лет я устраиваю одну из сестренок в гимназию, подготавливая

её во 2-й класс по истории, географии, русскому языку и закону божьему, случай по тем времена совершенно редкий. Отец ворчал, но не очень – пусть на учительшу учится – это не вредно.

У меня еще не исчезли религиозные предрассудки, у Рева я достал несколько брошюрок по геологии, книжки Фламариона, Дебьера. От моей былой веры осталось одно воспоминание.

В том же 1895 г. пробовали создать кружок наполовину из рабочих, наполовину из мелких канцеляристов – чиновников, но кроме устава дело не пошло. Интересно отметить как формировали мы тогда цели кружка: 1) Умственное, нравственное и физическое развитие каждого индивидуума, 2) Приятное, более рациональное времяпрепровождение и развитие эстетического вкуса и 3) Умеренность в образе жизни (имелось в виду, конечно, умеренная выпивка).

Интеллигенты-культурники через меня тянули группу рабочих в вольнопожарники, но мы уклонились от этой чести.

Тогда же начал писать стихи, но вскоре бросил. Удачнее пошло дело с корреспонденциями в «Биржевку», а потом в «Северный Край» в Ярославле, какие-то из них оказались напечатанными... Темы явились такие «Жалкое экономическое положение работающих на иностранных пароходах женщин, детей, отчасти и мужчин», «Почему хозяева не платят рабочим, ушибившимся или изувечившимся на их фабриках и заводах за время болезни» и т.п.

В связи с подобным умонастроением вспоминается эпизод с выкидкой отца с работы от Ульсена. Работал он у него по контракту и по истечении срока потребовал прибавки заработной платы. Заводчик не уступал. Помню в жаркий весенний день вышел отец от Ульсена (в Немецкой слободе жил) и пошли мы с ним на берег советоваться. Двина разлилась широко-широко, сладко пахло распустившимися розовыми цветами шиповника.

Убедил отца не идти на уступки. Не пошел и «вылетел»...

Вместо него задешево за старшего стал работать отцов помощник Пластинин, а я – у него. Не на шутку потом с отцом поссорились из-за этого.

Через несколько месяцев безработицы попал отец пилоставом на Удельный завод; на месте сгоревшего Беломорского выстроенный, а оттуда его Суркоф переманил, а потом опять он к Ульсену поступил.

А я совсем большой тогда вырос и полной свободой пользовался... Социальные вопросы меня сильно занимали, всякая несправедливость заводчика и его конторы такую горечь с души поднимали, что подчас лезли мысли в голову – а не спалить ли это проклятое гнездо эксплуатации?

Когда зимой рабочие с холодного амбара набивались к нам в пилоставную греться, а то вздремнуть в перерыв особенно ночью, какие у нас жаркие споры затевались на темы о труде и капитале... Они сами эти темы вырастали из всей нашей жизни, из беспросветной безрадостной работы на эксплуататора. Я не умел еще ничего сам объяснить, путался, сбивался от пустякового вопроса... Положим с амбарными и трудно было выяснить сложные вопросы – большинство не умели читать, грамотеям же я старался доставать книжки и газету маленькую «Бир-

жевку» нам по подписке на мои деньги из конторы прямо в пилоставную принесли и все ею пользовались.

К 20 годам я превратился в атеиста¹, в неоформившегося социалиста², и надо было лишь чуть-чутьное влияние извне, чтобы я стал в ряды партии рабочего класса.

Итак первый период промышленного капитализма создал порвавшего связь с землей – с деревней пролетария, второе поколение уже приобщалось к социализму, к революции. Я не был одиночкой. Почти с одинаковым умонастроением, но с разной степенью развития и способностей я мог насчитать до десятка молодых товарищей рабочих, но об этом после.

«ПОЛИТИКИ»

Архангельская губерния издавна населялась «политиками». Много их жило по уездным городкам и селам, но часть, наиболее квалифицированные, устраивались и в губернском городе. К концу 90-х годов в ссылку пошел «политик» особенно густо. Рабочее движение в Питере, в Москве отражалось на севере тем, что «колония» политических ссыльных в одном Архангельске достигала до 200 чел. Раньше «политики» жили в центре города, вблизи «Немецкой слободы», перебивались уроками, обучали детей местной торговой и промышленной буржуазии и чиновников, если и сходились с кем, то с городской мелкой интеллигенцией – учителями, чиновниками, адвокатами, студентами.

С наплывом «политиков» им пришлось расселяться и по окраинам города. Появились они и в Соломбале – сначала доктор Галюн, потом два инженера Кишкин и Богатырев, устроившиеся на службу в «Министерство путей сообщения» и наконец группа рабочих – Фишер, Шелгунов, Антушевский, Александр Карпович Петров и др.

Их многие знали по костюмам, по манере говорить друг с другом на улице. Мне очень хотелось познакомиться с ними, но не оказывалось случая. Вскоре он представился. Маленькая сестренка Поля заболела «желтухой». Ближайшим доктором оказался Галюн, у которого кто-то уже из наших баб побывал, и его расхваливали. Пока он возился с девочкой, успел расспросить и меня, кто и что я... Понравился мне он чрезвычайно... Еще раз заходил с сестренкой, а потом по его приглашению стал заходить и так... Помню, как замирало сердце, когда я поднимался к нему на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице и как оно прыгало от радости, когда он бывал дома. Галюн оказался как раз тем человеком, которого

¹ Книжки «Первобытные люди» Дебьера, «Очерки природы» Гартинга, «Море» К. Фогта и др. очень сильно повлияли на религиозный перелом.

² Потрясло стихотворение «Совы» Ш. Бодлера в переводе Курочкина в «Отеч. записках» за 1871 год кн. Выучил его на память. – «Неподвижно по несколько в ряд красноглазые совы сидят, наслаждаясь покоем весны, целый день размышляют они... Не по сердцу им солнечный свет. В них стремленье к движению нет. И спокойные эти умы, верят прочно в могущество тьмы. Совы знают, горячность вредна, в мире царствует сила одна, а за мысль и движение вперед наказание каждого ждет».

«ждала моя душа». Он стал руководить моим чтением и сразу же ввел в «курс», снабдив меня журналом «Новое слово», только что дошедшим до Архангельска. От статей по текущим вопросам внутренней «жизни» прозревали глаза.

Статья о новом законе о рабочем дне показалась мне настолько важной, что я её прочел в пилоставной своим обычным слушателям и сделал свои комментарии. Разговоры по заводам пошли после этого не малые.

Маленькая книжечка «Труд и капитал» Свицерского – все от того же Галюна – окончательно перевернула все моё мировоззрение на марксистский лад. Галюн перезнакомил меня со своими товарищами, а я его со своими. Из «политиков», влиявших на моё развитие, припоминаю – Е. Богатырева, Давыдова (Иос. Александр.) Елену Кишкину, ей мужа Афон. Кишкина, Малченко, Шелгунова, Норинского, Фишера (все питерцы). Карпузи, Бойе, Хозецкого А., Масленниковых братьев (москвичи), Григорьева (Самара), Петрова (Нижний Новгород) и др. Все они – социал-демократы. От них стал и я считать себя социал-демократом.

Чтобы понять все же разницу между народничеством и марксизмом я по указанию Галюна прочел Плеханова-Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю», но признаться очень мало понял. Пробовал читать I т. «Капитала» Маркса, но он оказался книгой за «семью печатями». Гораздо больше давали личные беседы с «политиками» и их споры между собою. Вскоре ряд «политиков» рабочих устроилось по заводам – Фишер поступил к нам, к Ульсену, Шелгунов – к Кыркалову, Бойе и Хозецкий – в мастерские «Министерства» и т.д. Это оживило всю колонию. Стали поговаривать об организации кружков местных рабочих. Появились «нелегальные» брошюры – «О штрафах», «Речь Петра Алексеева», «Кто чем живет» и другие. Первый кружок поручили организовать мне и самому с ним заниматься... Собрались в квартире токаря от Ульсена же – Двинова – шесть человек, трое приглашенных не явились – испугались. Первый блин вышел комом. Стали читать роман И. Боборыкина «По-другому» – «Вестник Европы» 1897 г. 1-4 книги. Зазевали мои ребята, скучно. П. Близин, выпивший ранее, заснул. Прекратили чтение. Я начал рассказывать о декадентах, о марксистах, о народниках, но никого особенно не заинтересовал. Чувствую – сам ничего толком не знаю. Все же решили собрания кружка продолжать. Хотели квартиру Ярилова использовать, но его сестра, – корчившая из себя либералку (стригла волосы) перепугалась и отказала мне. Собирались зимой по квартирам, по весне уходили в укромные места на берег реки – чаще всего на Соловецком подворье. Я успел в это время перечесть довольно много книг – Щедрина, биографию Лассаля, Энгельса «Происхождение семьи...», Липперта – «Историю культуры», Гиббинса – «Промышленная история Англии», Ключевского «Лекции по русской истории», все номера «Нового Слова» и т.п. Москвичи братья Масленниковы не придавали большого значения местной подпольной работе и все убеждали меня переехать в Москву. Мне и самому очень хотелось, но препятствием оказалась моя профессия – «пилоставу» в Москве нечего делать. Скрепя сердце, решил обучиться как следует слесарному делу – в 20 лет парню менять профессию казалось всем совершенно необычным. Отец сначала и слышать не хотел, но я его «взял на Англию» – убедил, что еду с Бойе и Хозецким туда (они собирались и действительно вскоре туда

уехали), хочу идти дальше и пробивать себе дорогу к жизни более интересной...

Согласился отец, уломал жирного мастера Зверева взять меня в «ученики» в механическую того же Ульсена. Дали мне первую работу – бронзовые подшипники опиливать. Я был сильный парень и так понажал подшипник в тисках, что он у меня лопнул пополам. Ругал меня Зверев и «дураком», и «идиотом» – на 1 р. оштрафовал. Я стерпел. Потом ребята и Двинов, и Фишер и другие – все приятели помогали, обучали, показывали, и я многому очень быстро научился, тем более что кое-что и раньше знал, да и в пилоставном деле с слесарным есть много общего.

Первым в Москву поехал, однако, не я, а молоденький литейщик из нашего кружка Александр Шмаров, но неудачно, в Москве он потерял паспорт и, чтобы не попасть на этап, уехал обратно домой. Все же его рассказ о пути и о Москве оказал известное влияние на моё решение поехать в Москву на работу и для пропаганды, а также и поучиться.

Я его снова убедил поехать вместе со мной. Надо было заработать денег на билеты, а мне за слесарную работу платили всего-ничего около 20-25 р. в месяц. Пилоставом я мог бы тогда до 40-50 р. в месяц зарабатывать. Жизнь дорожала и моего жалованья слесаря еле-еле хватало, а семья у отца, только что перенесшего жесточайшее воспаление легких возросла до 8 человек без меня и никто не зарабатывал пока, так как старшие девочки учились на мастериц по шитью, а одна в гимназии (пользуясь связями я устроил её на казенный счет – т.е. её освободили от платы – за учение).

Прежде чем ехать в Москву приходилось нанести тяжелый удар семье, потому что все-таки мой заработок оказывал отцу подспорье – особенно в моменты безработицы. Эти мотивы многих моих товарищей связывали и надо было иметь большую решимость, чтобы бросить на произвол судьбы нуждающуюся семью.

Кроме того, вырваться без особой нужды из родной семьи, уйти от привычного, с которым сросся, сблизился, порвать с девицами, за которыми ухаживал, которые нравились, было, конечно, не легко.

Не то в июле, не то в августе 1898 г. провожаемые товарищами и семьями я и Шмаров уселись на пароходе «Москва», перевозившим пассажиров с городской станции на вокзал. В жилетных карманах зашиты рекомендательные письма, паспорта, деньги – по десятке на брата и заготовлена мелочь на билет и на дорогу. Первый раз в жизни я ехал по железной дороге...

Мать плакала на расставанье.

Отец только заметил: «Не забывай нас Шестакович!»

Он оторвал от меня мать и увел её от вагона силой...

Апрель 1924 г.